

РЕЦЕНЗИИ

В. А. Звегинцев. Язык и лингвистическая теория. — М., изд-во МГУ, 1973. 248 стр.

Рецензируемая книга — сборник статей, которые уже публиковались автором ранее. В настоящем издании автор попытался лишь «заострить» те положения, которые ему казались особо актуальными.

Появление рецензируемой книги В. А. Звегинцева не может не вызвать удивления. Как известно, ее автор — филолог, доктор филологических наук, однако вся его книга резко направлена против филологии, против исторического языкознания, против сравнительно-исторического метода, против самого принципа историзма в науке о языке.

Задачи, которые ставит перед собой В. А. Звегинцев, весьма обширны и ответственны. Вслед за Н. Хомским он стремится разяснить «лингвистические теории самого большого масштаба» (стр. 35)¹, сделать «решительный шаг в сторону построения крупномасштабной лингвистической теории» (55), пугде, впрочем, не разясняя, что все это означает. Забегая несколько вперед, замечу: автор не дает никаких определений терминов и понятий, которыми он постоянно оперирует, хотя резко обвиняет чуть ли не всех своих предшественников в том, что они не занимаются дефинициями терминов. Присмотримся, однако, пристальнее, что же такое эта «крупномасштабная лингвистическая теория».

Вся книга В. А. Звегинцева строится как пересказ других книг, статей, публикаций, выступлений. В этот пересказ автор вставляет свои замечания. Цитаты из работ других авторов в книге занимают целые страницы. Подробно пересказываются даже такие публикации, авторы которых некоторыми рецензентами признаются «беспомянутыми и даже невежественными» (144).

В книге В. А. Звегинцева не может не поразить и не удивить полное отрицание достижений советского языкознания. Больше того. По мнению автора, советское языкознание вообще не существует. Он так и пишет с иронией: «Или в распоряжении советского языкознания есть своя специальная лингвистическая теория,

свой метод анализа и исследования языка? Так где же они, какие конкретно книги и работы содержат их описание?» (125). До этого отрицательного заключения, сделанного в форме вопросов, В. А. Звегинцев как бы спрашивает читателя: каким методом должны пользоваться советские лингвисты? Вновь поставив ряд «коварных вопросов», автор спрашивает читателя: быть может, советские лингвисты должны прибегать к любому методу исследования «лишь бы в нем был представлен человек и идеология»? (124). В. А. Звегинцеву все это кажется смешным и даже возмутительным.

По моему же глубокому убеждению именно с помощью такого метода советские лингвисты добились немалых и несомненных успехов в общей теории языка. Методы могут быть действительно разными (синхронным, историческим, сравнительно-историческим, сопоставительным, структурным и пр.), но все они должны быть связаны — прямо или косвенно — с человеком и его идеологией. То, над чем иронизирует В. А. Звегинцев, в состоянии стать предметом иронии лишь в устах исследователя, для которого язык не имеет никакого отношения ни к человеку, ни к обществу, ни к культуре общества, ни к идеологии людей, говорящих на данном языке. Как бы ни были сложны отношения между человеком, его идеологией и его языком (они действительно сложны), подобные взаимоотношения, сами по себе бесспорные, должны быть предметом пристального научного изучения. В рецензируемой же книге все это просто высмеивается.

Что касается второго «коварного вопроса» В. А. Звегинцева («какие конкретно книги и работы» содержат обоснование особенностей советского языкознания), то напомним, что таких книг и статей у нас очень много. Сошлюсь здесь хотя бы на свою работу «Общее языкознание в СССР за 50 лет» (с библиографией), опубликованную к знаменательной дате². И подобных обзоров имеется много.

¹ В дальнейшем цифры в скобках — страницы рецензируемой книги.

² ФН, 1967, 5, стр. 27—41. См. также мою кн. «Язык, история и современность», М., 1971, стр. 1—108.

Я уже не говорю о том, что в серьезных монографиях, посвященных более специальным проблемам, часто содержится убедительное обоснование того метода изучения «языка и человека», над которым иронизирует на протяжении всей своей книги В. А. Звегинцев.

Разумеется — подчеркну это еще раз — взаимоотношения между языком и идеологией нельзя упрощать, они всегда были и остаются сложными, нередко противоречивыми. И все же нет никаких оснований высмеивать проблему «язык и идеология» (вслед за советскими лингвистами этой проблемой в наше время стали интересоваться во всем мире), тем более — иронизировать над проблемой методологии лингвистического исследования, над тем, как истолковывается природа языка, его важнейшие функции и категории. В рецензируемой же книге все это совершенно открыто высмеивается (111).

На мой взгляд, В. А. Звегинцев очень неясно и сбивчиво излагает соотношение теории и метода в науке о языке. То метод оказывается врагом теории, то теория выступает как антагонист метода. Эмпирическая лингвистика — во власти метода, рационалистическая лингвистика — во власти теории (70). С одной стороны, автор определяет теорию «как систему гипотез, проверяемых и корректируемых практикой» (38), а с другой — теория оказывается как бы выше всякой практики, она сама определяет практику. Поэтому В. А. Звегинцев иронически оценивает совершенно правильное положение одного из исследователей, согласно которому «при любой степени абстракции языковед остается языковедом только в том случае, если он не отрывается от реальных свойств языка во всей их сложности и противоречивости» (103).

Вслед за Н. Хомским В. А. Звегинцев убежден, что вся современная лингвистика делится на два лагеря: на лагерь эмпиристов и лагерь рационалистов (60—61). Эмпиристы иначе именуются механистами, а рационалисты — менталистами, сторонниками так называемой глобальной теории (73). Эмпиристы не интересуются теорией, им достаточен метод, рационалисты, наоборот, все во власти теории, однако пренебрежительно относятся к методу. Подобное противопоставление представляется мне поверхностным и случайным по целому ряду причин: во-первых, при таком понимании противоположных направлений в науке на задний план отодвигается центральный вопрос — какую теорию защищают рационалисты (материалистическую или идеалистическую); во-вторых, в тени остается и другой важнейший вопрос, тесно связанный с первым — как с помощью своей теории рационалисты изучают конкретные (реальные) языки. Дело в том, что лингвистика нуждается не в теории вообще, как думает В. А. Зве-

гинцев, а в теории, помогающей понять природу языка, его функции и категории, в теории, способствующей лучшему осмыслению прежде всего естественных языков народов мира во всей их сложности, во всем их многообразии. Все остальные задачи теории вторичны и обусловлены первыми целями.

Не допуская даже мысли о существовании материалистических и идеалистических теорий в языкознании, как и во всякой другой гуманитарной науке, В. А. Звегинцев вполне последовательно иронизирует над понятиями субстанции и материальности в науке о языке. Он осуждает лингвистов «сугубо субстанциональной ориентации» (40), а о теории Л. Ельмслева замечает: «...сказать, что лингвистическая теория Л. Ельмслева не выдержала эмпирического испытания на пригодность, — еще фактически ничего не сказать» (41).

Еще удивительнее, как изображает В. А. Звегинцев историю языкознания. Положительно оценивается лишь творчество В. Гумбольдта. Все остальные лингвисты до Н. Хомского, оказывается, ничего не стоят. Целая гамма самых бранных эпитетов направляется по адресу младограмматиков. Читателю сообщается, что у младограмматиков «бульдожья хватка» (6), что они преклонялись перед языковыми фактами, а потому не понимали теории (недопустимое противопоставление теории и фактов), что младограмматизм, оказывается, был густопсовым (126) и т. д.

Все эти заявления совершенно безответственны. Младограмматизм — это отнюдь не однородное направление во всемирном языкознании конца прошлого и начала текущего столетия. Среди младограмматиков были выдающиеся ученые, которыми может и должна гордиться мировая наука. Достаточно назвать здесь имена русских ученых — академиков А. А. Шахматова и Ф. Ф. Фортунатова, имена немецких ученых Г. Пауля и К. Бругмана, имена французских ученых М. Бреалья и А. Мейе, — все они, как и многие другие, были прямо или косвенно связаны с движением младограмматиков. Их перу принадлежат капитальные, ценнейшие работы, знакомство с которыми совершенно обязательно для каждого серьезного лингвиста. И все это отнесено в рецензируемой книге к «густопсовому младограмматизму». Такие заявления не имеют никакого отношения к науке.

В. А. Звегинцев даже не подозревает, что младограмматики широко пользовались опытами формализации языка. Их приемы строгого морфологического анализа далеко продвинули вперед науку о языке по направлению к той самой точности, о которой мечтают многие современные лингвисты. Без младограмматиков была бы совершенно невозможна ма-

тематическая лингвистика наших дней. Всего этого, увы, совершенно не понимает автор.

Историю и теорию современной науки недопустимо строить путем полного отрицания предшествующей науки. Подобное отрицание особенно удивительно. У автора, который сам является составителем хрестоматии по истории лингвистических учений. Еще удивительнее то, что составитель включил в свою хрестоматию исследование таких ученых, оценить которые он так и не сумел. Как и у Н. Хомского, у В. А. Звегинцева существует лишь одна формула — «все языковеды, от В. Гумбольдта до Н. Хомского» (233), формула, которая в действительности им же сводится к одному Н. Хомскому. Все остальные ученые относятся к *quantité négligeable*. В таком ракурсе неудивительно, что все историческое языкознание с его огромными и совершенно бесспорными достижениями, оценивается лишь как движение науки вспять (129).

Необходимо с полной ответственностью заявить, что история советского языкознания дана в рецензируемой книге в кривом зеркале. «Стоит вспомнить, в каком теоретическом вакууме оказались советские лингвисты, — заявляет В. А. Звегинцев, — когда у них из-под ног (? — Р. Б.) было выбито „новое учение“ о языке Н. Я. Марра, — у них в распоряжении не оказалось никакого теоретического оружия...» (126). Это, разумеется, совершенно неверно. Советские языковеды всегда опирались и опираются на марксистско-ленинское понимание законов развития и функционирования всех общественных явлений, в том числе и языка. У советских языковедов всегда было такое оружие, как ценнейшее филологическое наследие, представленное именами крупнейших русских и советских филологов, выдающихся зарубежных ученых.

Не менее важно и другое. В. А. Звегинцев изображает историю нашей науки так, будто бы до 1950 г. она развивалась целиком и только под воздействием Н. Я. Марра. Но всякому осведомленному человеку известно, что это совсем не так. Можно назвать имена многих советских лингвистов, которые успешно обосновывали теорию советского языкознания в двадцатые, тридцатые и сороковые годы совершенно независимо от Н. Я. Марра, а иногда и в борьбе с ним. Назову здесь, например, теорию литературных и национальных языков, которая блестяще развивалась у нас в тридцатые и сороковые годы такими лингвистами и филологами, как Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, Б. А. Ларин, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, А. И. Смирницкий и многими другими (здесь упоминаются имена лишь умерших ученых). Назову здесь лексикологию и семасиологию, в области которых советские ученые уже давно сделали очень

много. Перечень подобных примеров можно легко продолжить, в частности, из области фонологии и диалектологии, из области синхронного и, особенно, исторического синтаксиса, из области стилистики и языка писателя, из области теоретической лексикографии. В 1923 г. Л. П. Якубинский, один из первых, начал изучение теории разговорной речи³, а позднее она стала предметом тщательного исследования во всем мире. Я уже не говорю об общих проблемах социологии языка, где приоритет и заслуги советских филологов совершенно бесспорны.

В. А. Звегинцев говорит об академике Н. Я. Марре так, как будто бы это был разбойник с большой дороги. Я не знаю, быть может, В. А. Звегинцев (с его пренебрежительным отношением к языковому материалу) забыл о существовании таких книг Н. Я. Марра, как, например, «Грамматика древнелитературного грузинского языка» или «Грамматика древнеармянского языка». Эти работы, как хорошо известно всякому серьезному специалисту, до сих пор остаются классическими. У Н. Я. Марра было немало и общих интересных идей в области филологии, о чем, в частности, в свое время писал академик В. Ф. Шипшарев в блестящем очерке «Н. Я. Марр и А. Н. Веселовский»⁴.

Спешу успокоить В. А. Звегинцева. Я не собираюсь защищать ни фантастические «четыре элемента» Н. Я. Марра, ни некоторые другие его идеи, действительно давно канувшие в Лету. Я только хочу подчеркнуть, что история советского языкознания начинается не с 1950 г. (начало лингвистической дискуссии), а, разумеется, с 1917 г.

По существу книга В. А. Звегинцева посвящена изложению теории Н. Хомского. Положение автора рецензируемой книги оказалось очень трудным, так как Н. Хомский обычно резко меняет свою концепцию от публикации к публикации. Поэтому и неудивительно, что все это нашло отражение и в рецензируемой работе. То, вслед за Н. Хомским, читателю сообщается, что лингвистика — это «раздел (и притом важнейший) психологии» (132), то, совсем наоборот, философские проблемы лингвистики оказываются чуждыми создателю генеративной грамматики (151). У этого же автора «семантика — самое слабое место» (154). Столь же фантастически менялись взгляды Н. Хомского

³ «Русская речь. Сборник статей под ред. Л. В. Щербы», 1, Пг., 1923, стр. 96—195.

⁴ Сб. «Язык и мышление», 8, М.—Л., 1937, стр. 324—343. Ср. также: В. И. Абаев, Академик Н. Я. Марр (к 25-летию со дня смерти), ВЯ, 1960, 1, стр. 90—100.

на природу естественных языков человечества. В. А. Звегинцев уверяет, что Н. Хомский «с самого начала ориентирует свою теоретическую модель на естественный язык» (45), а ровно через десять страниц читатели с изумлением узнают, что крупномасштабная (sic!) лингвистическая теория «не способна справиться с многоликой сложностью естественного языка» (55). Так чему же верить?

Примерно в таком же стиле характеризуются пресловутые глубинные структуры Н. Хомского. Сообщается, что они в центре всех построений Хомского, но тут же отмечается «неудовимость глубинной структуры» (54), ее неясность («трудно найти в современной лингвистике более популярную и вместе с тем наименее ясную категорию», 180) и т. д. Вначале объявляется, что «глубинная структура, поскольку она принадлежит мысли, оказывается вне грамматики как порождающего механизма» (52), но через сорок страниц акцентировается уже совершенно другое. Читатели узнают, что «в последующих работах (Хомского. — Р. Б.) глубинная структура приобретает все более и более „технический“ характер, теряя свою связь с мыслью» (83). Ну и структура! Она принадлежит мысли, и она же не принадлежит мысли, как не принадлежит она и грамматике. Так чему же она принадлежит, от чего или от кого она зависит? В. А. Звегинцеву, любителю точных определений (о необходимости точности в науке много и пылко говорится в книге), вряд ли подобные рассуждения могут показаться очень точными.

Но оставим построения Н. Хомского. О них существуют разные, чаще всего резко противоположные мнения в мировой науке. Подчеркнем лишь, что в рецензируемой книге, вопреки желанию ее автора, концепция Н. Хомского не получила ни заманчивой, ни «перспективной».

Широко обсуждается в работе еще одна проблема: место лингвистики в системе современных наук. Вслед за Р. О. Якобсоном, В. А. Звегинцев выдвигает тезис — «автономия и интеграция»: лингвистика должна сохранять свою автономию и одновременно «интегрироваться» с другими науками, постоянно с ними взаимодействовать (115, 118). Казалось бы все ясно, все очень просто. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что это совсем не так. Интеграцию наук В. А. Звегинцев понимает иначе, чем Р. О. Якобсон. Стремясь подчеркнуть «точность языкознания», В. А. Звегинцев стал пронизировать над гуманитарными науками (этого, разумеется, нет у Р. О. Якобсона). Само прилагательное *гуманитарный* на протяжении всей книги употребляется только в отрицательном или ироническом контекстах (3, 39, 108, 109, 113, 116, 121 и др.). Вот один из таких контекстов: «Почему лингвистика

обязательно должна находиться или в гуманитарном раю, или быть изгнанной из него...» (109). А вот существительное *гуманитарий*: «гуманитарии в лингвистике остались при логике Аристотеля» (116).

В. А. Звегинцев исходит из совершенно несостоятельного положения, согласно которому все гуманитарные науки как таковые обречены быть науками чисто описательными, а поэтому и беспомощными. Об этом говорится в самых различных местах книги. Отсюда и безответственные заявления о том, что «гуманитарии в лингвистике остались при логике Аристотеля» (116), что всякое филологическое изучение языка не в состоянии дать ничего, кроме простого описания и т. д. Но если понятия *гуманитарный* и *филологический* — это синонимы всего плохого в науке (и это в устах доктора филологических наук!), то и не удивительно, что таким же «плохим» оказывается у В. А. Звегинцева и понятие *исторический*. Это закономерно, так как филологическое изучение языка и его историческое осмысление глубоко между собой связаны, хотя сами эти два понятия и не тождественны. В рецензируемой книге о лингвистах-историках сообщается, что они «... продолжают бубнить (разрядка моя. — Р. Б.) о конкретно-историческом подходе к изучению языка как единственно возможном» (15, характерный стиль всей книги!). Между тем все серьезные современные лингвисты прекрасно понимают, что историческое изучение языка — это отнюдь не «единственно возможное» его исследование, а лишь одно из важнейших направлений в науке, которая сама является наукой прежде всего исторической.

Я глубоко убежден, что только тогда, когда ученый осознает подлинно историческую природу языка и его подлинно человеческую (гуманитарную) сущность, перед ним открываются широкие возможности изучения и других сторон языка, его разнообразных функций. Язык как структура, язык как синхронная система, язык в кругу других коммуникативных систем (при качественно отличной специфике самого языка) — все это может быть понято, осмыслено и описано только на фоне глубочайшего своеобразия языка в его исторической и человеческой сущности. Любые «подходы» к языку без этого последнего условия неизбежно оказываются поверхностными и дилетантскими. Изучение языка как определенной структуры — проблема очень важная (подчеркну это еще раз) и весьма актуальная, но залог ее успешной разработки определяется только что перечисленными условиями. К этому заключению сейчас приходят многие лингвисты в разных странах, еще не

так давно защищавшие тезис о совершенно автоматическом характере языка как определенного «механизма».

Как бы ни протестовал В. А. Звегинцев против разделения наук на гуманитарные и естественные (108), это разделение, разумеется, сохраняется и в наше время, хотя формы взаимодействия между разными науками теперь действительно становятся более многообразными и более сложными. При этом речь идет, конечно, не о том, что гуманитарные науки становятся немножко менее гуманитарными (весьма наивная концепция!), а о том, что у разных наук возникают общие объекты изучения, общие интересы. При этом если гуманитарным наукам есть чему поучиться у естественных наук (это безусловно так), то и у естественных наук есть чему поучиться у наук о человеке. На мой взгляд, только так следует толковать сотрудничество разных наук — понятие, весьма важное в нашу эпоху.

В. А. Звегинцев постоянно возвращается к вопросу о точности определения понятий и терминов, которыми оперирует наука о языке. Но странное дело, в самой книге автора нет никаких определений и никакой точности. Я уже отмечал это в связи с гипотезами Н. Хомского и их оценкой в рецензируемой книге. Но даже независимо от Н. Хомского читатели не найдут в книге никаких точных определений. Об определении естественного языка, например, сообщается, что оно «чрезвычайно осложняется его полифункциональностью» (121) — прием обращения к сложности понятия, помогающий избежать его определения (прием, который автор книги резко осуждает у других исследователей, 120—121). И уж, конечно, едва ли можно назвать определением языка весьма странные рассуждения о том, что «... язык... по своему назначению не является средством общения» (217). Как тут не вспомнить старую талейраповскую шутку: «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли». Благодарим автора, мы все поняли.

Любитель точности, В. А. Звегинцев, заходит слишком далеко в своих сомнениях о возможности точности в науке о языке. Он не только постоянно жалуется на трудности определения таких понятий, как смысл, значение, но и явно преувеличивает эти трудности, когда заявляет: «... высказывание *Я пойду сегодня в кино*, безукоризненное в языковом отношении, оказывается совершенно бессмысленным в речи, если оно является ответом на вопрос: *Какой город является столицей Грузии?*» (242). Здесь мы вступаем в область дилетантских рассуждений, действительно не имеющих никакого отношения ни к лингвистике, ни к здравому смыслу. И ссылки автора (в приложениях)

на «театр абсурда» (244—246) могут вызвать в лучшем случае только улыбку и недоумение.

Как мне уже приходилось писать неоднократно, языковедие, как и всякая другая наука, располагает своим понятием точности. Нет никаких оснований сводить его только к арифметике. Э. Кассирер в свое время справедливо заметил о великом лингвисте В. Гумбольдте, что, обладая умом «в высшей степени систематическим и точным», этот ученый не любил внешней техники систематизации. То же можно сказать, например, и о Гегеле, и о Шопенхове. Продолжая эту мысль дальше, допустимо заметить, что некоторые современные лингвисты, любители внешней (арифметической) техники систематизации, не владеют при этом даром внутренней систематизации, требующей большого таланта. Между тем отдельные лингвисты, как у нас в стране, так и за рубежом, готовы все подчинить лишь внешней технике систематизации.

Книга В. А. Звегинцева меня глубоко огорчила прежде всего тем, что ее автор «не заметил» больших и бесспорных достижений советского теоретического языковедения. Как бы ни были существенны разногласия среди советских лингвистов, как бы ни были серьезны расхождения по отдельным вопросам, советских лингвистов объединяет марксистско-ленинское понимание природы и сущности языка, законов его развития и бытования. К сожалению, сам В. А. Звегинцев занимается лишь общими рассуждениями о языке: Он никогда не исследовал ни одного конкретного языка. Такой ученый не может проверить свои построения фактами, материалом, теми самыми фактами и тем самым материалом, которые иронически упоминаются на всем протяжении рецензируемой книги.

В. А. Звегинцев изображает дело так, будто бы приверженцы односторонней и предельной формализации языка, противники исторического и сравнительно-исторического языковедения, не всегда имели широкие возможности защищать и пропагандировать свои взгляды и убеждения. Это, разумеется, неверно. В течение двадцати последних лет сторонники названной концепции опубликовали многие сотни статей и многие десятки книг, в которых защищали и защищают свои взгляды. И все же «победы» их анти-исторической и антигуманистической концепции языка едва ли выглядят сейчас заманчиво.

Наконец, последнее замечание. Обращаясь к любимой вопросительной форме изложения автора рецензируемой книги, попробуем задать себе такие вопросы: какова положительная программа, содержащаяся в анализируемой книге?; как следует изучать многообразные языки народов мира в свете той теории, кото-

рую защищает автор? Увы, на эти и подобные им вопросы автор даже не пытается дать хотя бы самые общие ответы.

Что бы ни писал В. А. Звегинцев о нашей науке, я убежден, что советские ученые, самым тщательным образом изучая

лучшие достижения мировой науки о языке, будут и дальше развивать лингвистику на основе своих принципов и своей теории.

Р. А. Будагов

«Вести-куранты 1600—1639 гг.». Издание подготовили Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина. Под ред. С. И. Коткова. — М., «Наука», 1972. 347 стр.

Более 300 лет находились в архивах рукописные памятники русской письменности первых десятилетий XVII в., получившие название «вестей», или «курантов». Публикации этих памятников в прошлом были выборочны (Ф. И. Буслаев, И. Е. Забелин, М. Петровский и некот. др.). Известна неудачная попытка Археографической комиссии подготовить их издание в 1901—1902 гг. к двухсотлетию возникновения периодической печати в России. Только в 1972 г. эти рукописи увидели свет.

В рецензируемом издании опубликованы документы деловой письменности первых десятилетий XVII в. (вести-куранты за 1600—1639 гг.), рукописи которых хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА) в Москве и в Библиотеке Академии наук СССР в Ленинграде. Издание подготовлено группой сотрудников Сектора лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР Н. И. Тарабасовой, В. Г. Демьяновым, А. И. Сумкиной под руководством С. И. Коткова. Предполагается выпуск второго тома, в который войдут документы последующего периода.

В изданную книгу вошло 710 рукописных листов документов, занимающих 193 стр. печатного текста (стр. 21—214). Имеется, кроме того, приложение, содержащее черновые варианты текстов, указатели слов, личных имен, географических названий, иллюстрации — фотокопии некоторых текстов (стр. 215—343). В небольшом, но обстоятельном введении дана характеристика исторического периода, когда создавались опубликованные документы, сведения об истории их появления, о некоторых особенностях языка и др.

Изданные памятники являются в большинстве своем переводами, но среди них есть и оригинальные (отписка Н. Д. Вельяминова и М. Сомова из Архангельска царю Михаилу Федоровичу, фрагмент указа царя Михаила Федоровича Н. Д. Вельяминову и М. Сомову и некот.

др.). Содержание их очень разнообразно: информация из разных стран о военных действиях, походах, приготовлениях, о народных волнениях, политических событиях, договорах, о явлениях природы, пророчествах, чудесах и т. п. При подготовке издания вестей-курантов Археографической комиссией были разногласия о принципах издания — печатать только переводы документов или переводы и иноязычные оригиналы. Рецензируемое издание содержит только русские тексты без иноязычных подлинников.

Публикация рукописных памятников начала XVII в. является большим научным и культурно-историческим событием. Значение его особенно очевидно на фоне недостаточной изученности ряда аспектов истории русского языка XVII в., что обусловлено в известной степени отсутствием публикаций ряда рукописных источников, рассеянных по архивам и потому не всегда доступных исследователям. Между тем, как справедливо замечено в рецензируемой книге, «без учета специфики развития языка XVII столетия не может быть правильной интерпретации явлений и фактов языка последующих эпох и, в какой-то мере, минувших» (стр. 3). В изданных рукописях содержатся весьма важные сведения для изучения путей формирования русского национального языка в начальный период этого процесса, когда создавалось единое национальное государство.

Ф. П. Филин заметил, что «имеющие место в лингвистической литературе попытки видеть в языке того или иного памятника „русскую основу“ опираются часто лишь на субъективное восприятие, лишенное научной значимости»¹. В этой связи важным представляется то, что «тексты, составившие данную книгу, включая заметный элемент народно-раз-

¹ Ф. П. Филин. К вопросу о так называемой диалектной основе русского национального языка, сб. «Вопросы образования восточнославянских национальных языков», М., 1962, стр. 25.